

Анатолий Фомин



Фомин Анатолий Аркадьевич родился 20.01.1960 в Свердловске. Окончил филологический факультет Уральского госуниверситета (1982). Работал на кафедре общего языкознания, специалист по латинскому и болгарскому языкам, литературной ономастике. В 1986 г. защитил диссертацию «Семантическая типология озёрных гидронимов Зауралья». Стихи публиковались в журналах «Урал», «Уральский следопыт», альманахах и коллективных сборниках. Участник АСУП-1. Живет в Екатеринбурге.

Филологическая маркировка стихов А.Ф.

Традиции, направления, течения: классика, модернизм, импрессионизм, экспрессионизм, неоакмеизм, постмодернизм.

Основные имена влияния, переклички: К. Батюшков, А. Пушкин, Е. Баратынский, Ф. Тютчев, О. Мандельштам, М. Айзенберг, Ю. Казарин.

Основные формальные приемы, используемые автором: прямоговорение, нарративность, диалог с мировой культурой, философский дискурс, пейзажность.

Сквозные сюжеты, темы, мотивы, образы: пейзаж, времена года, дождь, снег, оппозиции темнота/свет, счастье/несчастье, смерть/бессмертье, ощущение тоски, ночь, звезды, сон, любовь, жизнь, поэзия.

Творческая стратегия: лирическая рецепция жизни, судьбы.

Коэффициент присутствия: 0,23

АВТОБИОГРАФИЯ

Есть у Бунина один рассказ, начало которого меня всегда восхищало. Мне казалось (и кажется сейчас), что именно так и нужно начинать прозу: мелодически выверенной лаконичной фразой, придающей всему последующему должный

смысл. «Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле».

А если это правда, то почему бы не рассказать о себе, когда просят, обратив взгляд в прошлое и рассказав о нём по возможности искренне и легко?

Родился я в 8 часов утра 20 января 1960 г. в Свердловске, на одной из окраин этого индустриального города с малопоэтичным названием Сортировка, населённой в то время не китайцами и таджиками, а в основном русскими людьми, работавшими на железной дороге, для обслуживания которой, собственно, и строился посёлок. Факт моего рождения, можно сказать, остался почти незамеченным широкой общественностью – за исключением разве что моих родителей и родственников, и, естественно, меня самого. Моё появление на свет, как вспоминала мать, немедленно стало предметом разногласий между двумя акушерскими бригадами, поскольку одна из них, дежурившая ночью, желала записать новорождённого в свой план с расчётом на премиальные, а вторая, заступавшая на смену как раз в 8 утра, настаивала на своих правах. Не знаю, каким образом разрешился спор, но роды прошли благополучно, и младенец, вполне себе средний по всем габаритам, вступил в первый этап своей жизни. Родители мои, как и многие из наших знакомых и соседей, трудились на железной дороге.

Отец – Фомин Аркадий Георгиевич – работал сцепщиком вагонов, башмачником, позже оператором станции Свердловск-Сортировочный, пока, наконец, не стал диспетчером, прослужив на этой должности до конца жизни. Умер он в 1982 г., прожив чуть более пятидесяти лет. Он не был коренным уральцем, а приехал сюда со своей матерью (моей бабушкой), двумя братьями и сестрой из Сибири, с берегов Иртыша.

Мать – Фомина (урождённая Корнеева) Анастасия Павловна работала крановщицей в вагонном депо вплоть до выхода на пенсию. Отец познакомился с ней в Москве, где проходил военную службу, и привёз её оттуда в Свердловск, определив, таким образом, место моего появления на свет. Поселились они вместе с бабушкой и семьёй младшего брата отца в маленькой квартире, выделенной железной дорогой, в двухэтажном деревянном доме на ул. Крупской. Впрочем, через два года после моего рождения наша семья переехала в отдельную двухкомнатную квартиру на ул. Кишинёвской, где состав её почти немедленно увеличился: в 1962 г. родился мой брат – Фомин Виктор Аркадьевич.



Отец, Аркадий Георгиевич



Мама, Анастасия Павловна

Моё детство вряд ли сильно отличалось от детства многих сверстников-соседей: детский сад, восьмилетняя школа № 120, ныне давно уже не существующая, поскольку в её здании был открыт учебно-производственный комбинат для профориентации школьников старших классов. Там, в частности, у нас проходили уроки труда, на которых меня безуспешно пытались обучить профессии инженера-радиоэлектронщика. Этому, однако, противилось всё моё существо: паять, чинить радиоприёмники и осциллографы, копаться в микросхемах было непереносимо скучно. Сейчас я вижу, что куда полезнее было бы для меня освоить машинопись (была среди прочих и такая специальность), но профессия секретаря-машинистки считалась сугубо девичьей, в этой группе не было ни одного мальчика, и покрыть себя несмываемым позором, полностью дискредитировав в глазах как мужской, так и женской части класса, я не решился.

Надо сказать, учиться мне нравилось, я с удовольствием и легко делал домашние задания по многим предметам – это было интересно и не слишком обременительно. К таким интересным для меня предметам относились русский язык и литература, математика (особенно алгебра), французский язык, частично физика (особенно физика элементарных частиц). Интересна изначально мне была и химия, но женщина, которая её вела, успешно с этим интересом боролась: бывало, она так заходила в крике, багровея лицом и размахивая руками наподобие мельницы, что

мысли об элементах, их соединениях, формулах и реакциях тотчас испарялись из моей головы и оставался один только страх, что её вот сейчас, немедленно, прямо посреди класса хватит апоплексический удар.

Были у меня и нелюбимые предметы. Я не любил, например, рисование и (особенно) черчение, по причине полного отсутствия какого-либо дара к этим занятиям и вообще пространственного мышления. В самом деле, представить какую-нибудь шестерёнку в её внутреннем разрезе, а потом это аккуратно изобразить на чертёжной бумаге с циркулем и линейкой всегда было для меня мукой мученической.

Читать я научился ещё до школы и с удовольствием предавался этому занятию, регулярно притаскивая из школьной и районной библиотек пачки самых разных книг. Первая книга, которую я в шесть лет прочитал самостоятельно и абсолютно добровольно, найдя её пылящейся дома на шкафу, была «Ревизор» Гоголя. Пьеса эта меня совершенно очаровала; некоторые фразы с непонятными словами вроде «лабардан» или «арапник» я сходу запомнил наизусть, хотя и не понимал тогда, что они значили. Любовь к Гоголю и к его изумительно интонированной фразе сохраняется у меня и сегодня, когда я знаю, что лабардан – это всего лишь солёная треска, а арапник – охотничья плеть. Второй опыт самостоятельного чтения был гораздо менее удачным: в недобрый час мне в руки попала повесть Короленко «Слепой музыкант», я начал её читать и был страшно



А.Ф. в детском саду

разочарован тоскливой убогостью этого сентиментального повествования (как я выразился бы сейчас, а тогда просто забросил эту скучную книжку обратно на шкаф). Читал я много, но совершенно бессистемно, хватая всё, что попадало мне на глаза. Поскольку книг дома больше не было, я стал регулярным посетителем библиотек. Как и положено в школьном возрасте, предпосылки мною отдавались приключениям и фантастике. Я перечитал романы Жюль Верна, Майн Рида, Дюма, Вальтера Скотта, Фенимора Купера и множество книг из «Библиотеки советской и современной фантастики». Попутно читал и то, что называлось классикой, причём на мою оценку произведения его статус общепризнанного шедевра никак не влиял. К примеру, «Дон Кихота» я буквально «проглотил» за два дня с величайшим удовольствием, тогда как «Отверженные» Гюго крайне меня разочаровали: ни танцующий на баррикадах Гаврош, ни каторжник Жан Вальжан, чьё имя и фамилия столь заманчиво рифмовались, не вызывали в моей душе ни малейшего отклика. То же и с русской литературой: пушкинские «Капитанская дочка» и «Дубровский», не говоря уж о «Пиковой даме», мне нравились какой-то магией своей словесной ткани, не тем, о чём рассказывал автор, а тем, как ловко это у него получалось. Зато «Преступление и наказание» вызвало у меня ощущение, сходное с зубной болью, и я этот роман не дочитал и до середины. Полностью осилил я его только в девятом классе, хотя мнения об этом произведении не изменил даже сейчас: скучная,

бесцветная и какая-то муторная книга, которую я никак не могу поставить в один ряд с «Бесами», «Идиотом» или «Карамазовыми». Толстой оставил меня совершенно равнодушным, как и Чехов: прочитал и забыл. Для этих писателей я был слишком мал и глуп и оценил всю трагическую прелесть «Анны Карениной» и грациозность чеховских рассказов гораздо позднее, уже будучи взрослым. Поразила меня, помнится, «Бегущая по волнам» Грина: прочитав её впервые в восьмом классе, я к десятому классу перечитал этот роман ещё два раза, чего со мной в том возрасте почти никогда не случалось. Перечитывать раз прочитанную книгу мне казалось тогда как-то совсем не с руки, уж слишком много вокруг было непрочитанного.

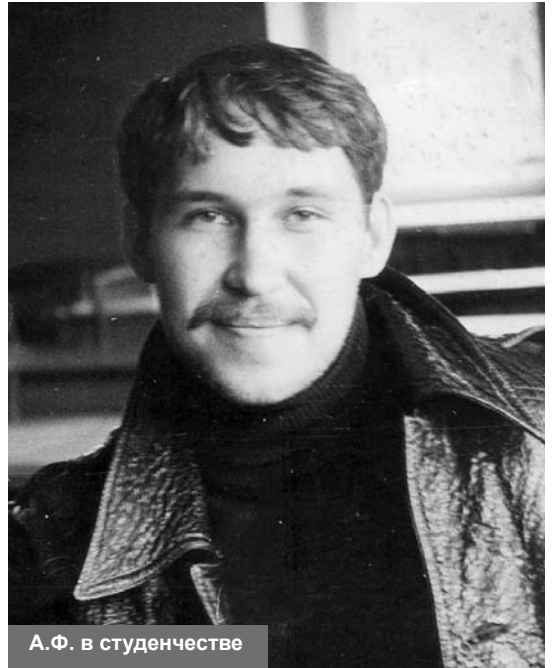
Так постепенно складывался мой литературный вкус – стихийно, сам собой, без направляющего воздействия с чьей-либо стороны, поскольку родителям до круга моего чтения было мало дела, как и учителям: не балуется ребёнок, занят чтением, а что именно читает, неважно, книги плохому не научат. В принципе, таким бессистемным он остаётся и по сей день, и мне трудно объяснить, почему «Горе от ума», «Графа Нулина» или «Господина из Сан-Франциско» я раз за разом перечитываю с неослабевающим интересом, а «Тихий Дон» нобелевского лауреата Шолохова не смог ни разу дочитать до конца и, наверно, уже не смогу. Впрочем, я из-за этого несколько не печалюсь: писателям, которые не пришлись мне по вкусу, от этого ни жарко ни холодно, литературные достоинства их произведений от моего невнимания ничуть не уменьшаются, а мне хорошо и без них. Бог с ними, не в этой жизни.

Поэзию я начал читать позже прозы, но так же скопом, подряд, не отделяя Сергея Михалкова от Некрасова и Пушкина. Назидательность, вообще свойственная детской литературе, в поэзии ощущалась особенно и обычно раздражала меня, если не скрывалась за какими-нибудь волшебными созвучиями и ритмическими переключками, как это бывает, например, у Чуковского. Поэтому я довольно скоро перешёл на «взрослые» стихи. Пожалуй, первое стихотворное произведение, впечатлившее меня, было «Железная дорога» Некрасова – то ли потому, что жизнь Сортировки, как я уже говорил, вращалась вокруг железной дороги, то ли из-за мощной ритмики этого стихотворения, поступательного нарастания дактилей, напоминающих о ступе вагонных колёс. Но, нужно сказать, настоящий интерес к поэзии пришёл только после восьмого класса; до этого поэзия воспринималась мной как «второстепенная» литература, годная лишь на замену, хотя по-своему интересная. Я даже кое-что покупал в книжных

магазинах на сэкономленные от школьных обедов деньги. Помню, к примеру, книгу Майи Никулиной «Имена», которую я купил, полистав предварительно и наткнувшись на какое-то понравившееся стихотворение («Танец», кажется, или что-то вроде этого). Читая её, я, конечно, не мог предполагать, что через несколько лет познакомлюсь с автором лично и буду читать ей свои юношеские вирши, впрочем, без особого трепета и желания.

Может сложиться впечатление, будто я был типичным домашним ребёнком, который, кроме книг, ничего вокруг не видел и знать не хотел. Это, однако, не так. Двор и улица по-своему проникали в мою жизнь и формировали характер. Я нередко принимал участие в дворовых футбольных баталиях и слыл неплохим забивалой, почему скоро был приглашён в юношескую команду местного «Локомотива», где стабильно выходил в основном составе на первенство города, переиграв там почти на всех позициях, кроме разве что вратарской и центра защиты. Когда я заканчивал 10-й класс, наш тренер даже предложил мне съездить на просмотр в ДЮСШ «Уралмаш». Команда мастеров «Уралмаша» играла тогда в первой лиге всесоюзного первенства и была флагманом местного футбола, а юношеская команда выступала в качестве её резерва и считалась весьма престижной: на её матчи порой даже приходила тысяча-другая зрителей. Впрочем, я не переоценивал свои футбольные перспективы, а необходимость двухразовых тренировок и соответственно дальних поездок в этот район города меня отнюдь не радовали. Да и подготовка к вступительным экзаменам в университет (куда я определённо решил поступать после школы) требовали времени. Поэтому, сколь ни лестно мне было полученное предложение, я отклонил его без малейших сомнений, о чем в будущем не пожалел ни разу. Футбол позволил мне завести знакомство в таких кругах, где книг не читали, но могли оценить современную точный пас или неберущийся удар в «девятку». Интерес к футболу не оставляет меня до сих пор, я регулярно смотрю российский чемпионат, где по старой памяти болею за «Локомотив» (правда московский).

Закончив девятый и десятый классы 127-й школы, я поступил в Уральский государственный университет. Наверно, это был первый серьёзный выбор, который встал передо мной: любовь к чтению толкала меня на филологический факультет, склонность к сочинительству – на журфак, а потребность размышлять о глобальных проблемах бытия – на философский. Был ещё вариант с факультетом иностранных языков в пединституте, но его я быстро отклонил, так как неприязнь к слову «педагогический» оказалась намного



А.Ф. в студенчестве

сильнее моей симпатии к французскому языку и профессии переводчика. Выбор факультета был облегчён тем, что на журфаке, как я узнал, заявившись в приёмную комиссию с документами, требовались опубликованные печатные работы, которые у меня, разумеется, отсутствовали. Филологический факультет, считавшийся в те времена «передним краем идеологической борьбы», я тоже по некотором размышлении отверг: продемонстрировать экзаменаторам идейную подкованность и мировоззренческую зрелость очень уж не хотелось. В итоге филологический факультет Уральского университета оказался тем самым местом, с которым, как позже выяснилось, я надолго связал свою жизнь.

На филфаке я познакомился с людьми, которые в значительной мере повлияли на то, что я не бросил писать. Стихи я начал сочинять ещё в восьмом классе, но это были, так сказать, разовые стихотворные «акции», невольная дань моему взрослению. Я сам прекрасно осознавал, какую дребедень я пишу, и очень стыдился результатов моего поэтического озарения. Сейчас из этих крайне неумелых и абсолютно бездарных текстов не сохранилось ничего – и слава богу, смотреть на них мне было бы стыдно и сейчас. Я понимал, что так писать плохо, но переполнявшие меня чувства требовали выхода, а другого выхода я найти не умел. Оказавшись на филфаке, я понял, что пишут многие, и это не душевное уродство, а нормальное становление души и поиски собственной интонации в разноголосье современности. Рядом были однокурсники: учившийся со мной



Сын Дмитрий

в одной группе Лёша Маркин, сейчас доцент кафедры зарубежной литературы, гроза нерадивых студентов-журналистов, а тогда автор меланхолических опусов, с которым мы под бутылку порвейна не раз обменивались своими поэтическими творениями, или Женя Касимов, во втором семестре вышедший на наш курс из академотпуска, проучившийся с нами год, а потом отчисленный по воле семейных обстоятельств и деканата. Он сразу покорила наши сердца, явившись в первый же день на лекции в сибирских валенках и свитере, свисающем чуть не до колен. На семинарах по современной литературе он так виртуозно читал стихи Вознесенского и Евтушенко, что хотелось немедленно на перемене бежать в библиотеку и обложитьсь книгами этих авторов. Он был старше нас на четыре года, отслужил в армии, женился, поездил по стране и при этом сам писал стихи и рассказы, которые публиковались в факультетской газете «Словарь».

Эта газета, кстати, тоже сыграла немалую роль в поддержании благоприятного поэтического климата филфака. Именно там, в разделе «Мастерская», я впервые прочитал стихи Юры Казарина, писавшего тогда исключительно четверостишия («Понимаешь, старик, – говорил он мне, – нужно научиться писать коротко; четыре строчки – и всё, конец, а переливать из пустого в порожнее каждый может»). Очень мне нравились стихи Игоря Сахновского, нынешнего прозаика и лауреата, не помню какой премии, Вити Смирнова, писавшего очаровательно необычные стихи с лёгким прикусом Пастернака, строчки из которых сами ло-

жились в мою память, Сергея Гонцова, студента журфака, волею судьбы попавшего в эту филологическую тусовку, Андрей Танцырев, Илья Кормильцев, Петя Сульженко... Эта поэтическая атмосфера кружила голову, пьянила (зачастую в самом прямом смысле) и изрядно отвлекала от учёбы, но давала взамен чувство слова, которое иным способом не могло сформироваться в нас.

Каждый год на филфаке проводился конкурс поэтов, участники которого в переполненной 338 аудитории (интерес к поэзии в отличие от сегодняшнего времени был велик) читали по два-три стихотворения слушателям и взыскательному жюри, после чего были расставляемы по местам соответственно продемонстрированному поэтическому дару. Я даже занял почётное (так, по крайней мере, объявил председатель жюри – не помню, кто это был) третье место, после Казарина и Сахновского. Случались встречи поэтов филфака с нами, первокурсниками, слушавшими признанных факультетских мэтров с таким же пиететом, с каким, наверно, древние греки внимали предсказаниям пифии. Помню, к примеру, Андрея Танцырева, тогдашнего студента 4-го курса, мерно расхаживающего по 339 аудитории перед чтением «только что написанных», как он громко и ясно объявил присутствующим, стихов и говорящего что-то вроде: «Мы, носители и хранители филологического слова, не должны забывать, что за нашими спинами три века русской поэзии». Его высокий слог так не соответствовал довольно обшарпанной обстановке, в которой проходила встреча, что я (да и кто-то ещё из слушателей) не мог удержаться от невольного смешка, за что аудитория получила испепеляющий взгляд вдохновенного поэта и продолжение фразы: «И жаль, что не все это понимают».

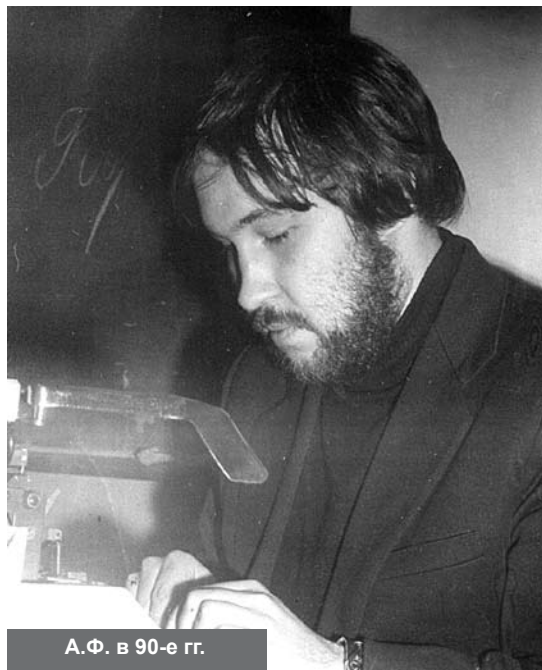
Уверенно могу утверждать, что писать стихи, плохие и хорошие, а не просто выбрасывать на свет божий рифмованные строки я стал именно в университете. Первое стихотворение, про которое можно сказать, что оно не является совершенно пустым, что в нём что-то такое отсвечивает, было написано мной где-то в конце второго – в начале третьего курса. Мне было тогда 19 лет.

Чтобы не показаться самонадеянным и самовлюблённым спесивцем, должен кратко охарактеризовать своё отношение к тогдашним (да и более поздним) моим стихам. Как ни печально, я полностью лишён такого качества, как поэтическое честолюбие. Честолюбие, желание быть признанным читателями – мощное поэтическое топливо, на котором стихотворец или писатель может работать долго и эффективно. У меня этого топлива нет и никогда не было. Мне было совершенно всё равно, как примут мои стихи, понравятся ли они или будут разруганы в пух и прах. Я писал, когда

хотелось писать, а когда не хотелось – не писал. Это, в общем-то, дилетантская позиция, но я никогда и не считал себя профессиональным поэтом. Оттого я никогда не чувствовал ни малейшей ответственности перед читателем: хочется читать – читай, не хочется – не читай; понравились стихи – прекрасно, не понравились – да и бог с ними. В таком отношении, кстати, есть и свои плюсы: стихи никогда не были для меня причиной расстройства, они просто отражали мой взгляд на мир и на себя; если же они не удавались, это означало всего лишь, что я по какой-то причине не смог выразить адекватно себя – что же из-за этого огорчаться?

Закончил я университет в 1982 году, после чего поступил в аспирантуру, сдал кандидатские экзамены, написал стосемидесятистраничную кандидатскую диссертацию «Озёрная гидронимия Юго-Восточного Зауралья» (желающие могут справиться в словаре о значении термина «гидронимия», который не имеет ни малейшего отношения к поэзии и вообще к литературе) и защитил её в 1986 году. Добавлю, что почти сразу после окончания университета я женился на своей однокурснице Беде Елене Викторовне, которая, однако, из-за академотпуска проучилась на два года дальше меня. В 1985 году появился на свет мой сын Фомин Дмитрий Анатольевич. Брак этот оказался не слишком долговечным и распался в 1987 году. Впрочем, нормальные отношения мы с бывшей женой, к счастью, сохранили и сейчас, когда у неё давно уже другая семья и две дочери от второго брака.

Защитив диссертацию, я был принят преподавателем на кафедру русского языка и общего языкознания, где продолжаю благополучно работать и сейчас. Всё это время я продолжал потихоньку сочинять стихи и даже написал пьесу в стихах, которая где-то лежит в моей тумбочке, погребённая под ворохом самых разных бумаг. Но обращался я к стихам всё реже и реже: преподавание в университете подразумевает занятия наукой, а они требуют и времени, и сил. Это такое же полностью поглощающее человека творчество, как и сочинение стихов, но требующее постоянного напряжения мысли, а не чувства. Совмещать два этих разных ремесла (вспомним Грибоедова) у меня получается с трудом, а точнее, никак не получается. Поэтому за последние пять лет я написал всего три стихотворения, а в предыдущие пять лет – вообще ни одного. Зато сейчас у меня более трёх десятков научных публикаций, к которым я отношусь точно так же, как к стихам: не горжусь, но и не стыжусь. Есть люди, которым очень легко даётся переключение с научной работы на поэтическую и обратно. Тот же Юрий Викторович Казарин, мой коллега по факульте-



А.Ф. в 90-е гг.

ту, профессор, доктор и прочая, после того как, по его выражению, «завязал» со спиртным, выдаёт на-гора поочередно научные и поэтические книжки с завидной регулярностью. У меня так не получается: не те мозги. Научное сочинение, будь то самые невзрачные тезисы, простенький доклад или обычная лекция, требуют полной логической проработанности, в них все логические связи должны быть выявлены и преподнесены слушателю или читателю; в них не должно быть недоговорённостей, неясностей, околичностей. Для стихов это губительно, они живут ассоциациями и «тёмными» местами, их дыхание только тогда свободно и легко, когда скрыто. Никаких особых чувств я по этому поводу не испытываю: это мой путь, самостоятельно мною выбранный, по которому я стараюсь идти спокойно и весело, по мере возможности не кривя душой. А сколько мне ещё идти и куда приведёт меня дорога, – не знаю, как не знает этого ни один из живущих на земле.